

87804
А

СЕРГЕЙ ДЬЯКОВ

К
А
Ч
Е
Л
И

ЛИТЕР
А
СОВЕТСКИЙ 40



84Р6К
Д93

Сергей Дьяков
КАЧЕЛИ

Книга стихов



Кузбасский центр искусств
Кемерово – 2019

103493(1)

Книга издана при поддержке Фонда президентских грантов

Автор проекта – Наталья Ибрагимова

Книга стихов Сергея Дьякова входит в серию книг ведущих поэтов Сибири, изданную журналом «После 12» в рамках проекта «ЛитерА, Советский 40 – адрес сибирской поэзии» — победителя конкурса Фонда президентских грантов 2018-го года. Сергей Дьяков — участник проекта и гость осеннего сезона кемеровского арт-клуба «ЛитерА, Советский 40».

ПОЖЕРТВОВАНИЕ

ЦБС
г. Ленинск-Кузнецкий
Отдел обслуживания
АБОНЕМЕНТ

РФ Кемеровская обл.
г. Ленинск-Кузнецкий
МБУК "ЦБС им. Н.К.Крупской"

Двадцать два.
Пора писать роман.
Замутить из прошлого «варёнку».
Обналичить сердце «на карман»,
издоить свободы коровёнку.

Тридцать семь.
Пора писать роман.
Смерть кругом, но жизнь встаёт на стапель.
Птицы с юга. Память рвёт стоп-кран.
Тридцать семь. На сахар – горьких капель.

Сорок девять.
Как один роман.
Сердце чаще чувствует занозу.
И стихов лирический туман
тает, обнажая землю-прозу...

Давай плести, как фенечки, слова.
 Ты скажешь: «Снег», а я продолжу: «Город».
 Потом: «Дорога – абрис – синева»...
 А после ночь и звёзд – молокопровод.
 Как будто там «Владивосток – Москва»
 летит над нами сквозь вселенский холод...

Давай с тобой цепляться за слова.
 Ты скажешь: «Век», а я спрошу: «Который?»
 Всё – то же: «Йод – давило – одна»,
 и небосвод наперником распорот,
 и снеговые движутся едва,
 ссыпаясь нам колючками за ворот.

Наш пассажирско-вечно-грузовой
 состав летит к развязке узловый,
 и машинист – с запалом первородца...

А мы на крыше выпуклой сидим
 и чечевицу спелую едим,
 и как бы видим звёзды из колодца...

И что нам слава – мнимая халва!
 Наш путь – косноязычника – волхва –
 жизнезацепера и словотворца...

То ли стряпуха сквозь сито остатки сусеков сеет.
То ли мешок из холстины льняной вытрясает мельник.
Белые ль пчёлы летят в клевера и жужжат в росе их,
ломкими крыльями в жизни земной отразившись мельком.

Снег ли влечётся к траве, и трава ли влечётся к снегу.
К смерти живое, к живому ли смерть – всё одно сожженье.
Ангел становится бесом, и боль переходит в негу.
С неба на землю, с земли в небеса – только полсажени.

Камень всё точит вода и всё крутит тяжёлый жёрнов.
Белое платье в кувшинках увязнет, как злое лихо.
И оборвётся верёвка, не выдержав гордый норов.

«Всё перемелется, будет мука», – скажет мельник тихо.
Молвит старуха: «Поешь пирожок, он от силы чёрной».
Крутится мельничное колесо. Поёт соловьях...

Чуть заметные лёгкие тени
проступили на снежном верже.
Это с вестью о солнце весеннем
прилетел голубок бланманже.

Приласкай этот трепет почтовый –
эту робкую пробу пера.
С воркованием ночи червовой
под карнизами Гранд Опера.

Разложи эту древнюю карту –
кружевами сплетённую даль –
акварельное небо Монмартра
и рисованный углем Пигаль.

Заплыви в эти мягкие сети,
завернись в этот тонкий ажур,
где друг другу картавые дети,
как котята, мурлычат: «L'amour...»

Но вчитайся в сквозные ремарки –
их, как дратва, прошила судьба
через все Триумфальные арки,
через Сент-Женевьев-де-Буа...

Там в печали о Родине дальней
по раздольным пшеничным полям
кто-то сердце до корки сусальной
монпарнасским скрошил голубям.

Чтоб холодная наледь латыни
стала медленно таять и течь...
Чтобы запахом горькой полыни
в ней прослышалась Русская Речь...

Ближе к ночи, дверные притворы прощупав,
раскрошился мороз серебристым снежком.
Закрутил я две тысячи чёрных шурупов
и решил возвращаться с работы пешком.

Через кладбище шла снеговая дорога.
И луна, как монашенка на Рождество,
вся светилась. Как будто бы видела Бога
и о нашем спасенье молила Его.

Падал снег и блестел, и хрустел под ногами.
И во всём был предвечной природы покой...
Всё же есть что-то свыше над бренными нами
и над этой светящейся млечной рекой.

Мы, конечно, умрём. Мы, наверно, воскреснем,
в обновлённой земле, как цветы по весне.
Но зачем так печальны церковные песни?
Или в этой печали не слышится мне

сокровенного Слова о всех неспасённых?
Обо всех, кто блуждает во тьме без огня.
Обо всех теплохладных, дремотных и сонных.
Обо всех, кто устал, и ещё – про меня.

Слово входит, как звук, сквозь закрытые двери.
Я в глубокие раны влагаю ладонь...
Я смотрю на Него. Я смотрю – и не верю,
только чувствую неопалимый огонь.

Вот и кончился Путь. По сосновому лесу
завиляла тропинка. Пошла под уклон.
И вдали задрожал сквозь речную завесу
многоглазой громадой ночной Вавилон.

На мосту – будто днём от электросветила.
Я подумал: «До дому бы доковылять...»
А внизу, под трубой, почему-то манила
незамёрзшая, чёрная, тёплая гладь...

Вчера был город ливнями прошит,
а нынче снег над ним, как птица, кружит.
Но на земле повсюду грязь и лужи,
и он её коснуться не спешит.

И вместе с ним плывущая душа
уже не ищет прежнего приюта.
И эта просветлённая минута
не по-земному как-то хороша.

И я, от притяженья отдыхая,
всё больше привыкаю к высоте...
Я радуюсь небесной чистоте,
всё реже воздух осени вдыхая.

Не грусти, фармацевница, –
мы от Бога слабы.
А тебе всё не верится.
А глаза – голубы.
И с могуществом царственным
смерти не миновать.
Так зачем над лекарствами
ты колдуешь опять?
Всё желтеет и старится.
Превращается в хруст...
Ляжет белая марлица
на рябиновый куст.
Нам загадка загадана,
а разгадка – проста:
как волшебное снадобье,
мир спасёт красота.

Ты латынь окаянную
в белой ступке не три –
через дверку стеклянную
на меня посмотри.

Собирал по слезинке, по слову копил.
Наполнял огоньками лампадок церковных.
А вчера свою душу, как шапку, пропил.
Как синичье гнездо, разорил хладнокровно.

От ребра до ребра – хоть шаром покати.
Острой болью торчит воровская отмычка...
Я ведь сам помогал эту спицу крутить.
Вынимал по частям и подсвечивал спичкой.

Не дочитан опять покаянный канон.
В темноте хохоток опустевших бутылок.
И всю ночь, нарушая и путая сон,
что-то давит и душит, и дышит в затылок...

Не расплакаться больше чернильным пером.
Пустоту не засеять, не вырубить словом...
От себя самого бы нырнуть топором,
мотыльком бы сгореть в огонёчке лиловом.

...На заветной заимке не заперта дверь.
Вот и спички на печке, и фляга под воду...
Кто же первый войдёт – зверолов или зверь?
Кто же первый найдёт здесь приют в непогоду?..

На перекрёстке бедности и горя
ломбардной ночью воздух бархатист.
И от ночных акаций пахнет морем.
И в белом ялике плывёт таксист.

А вот рыбачка, выпивши с утра.
Пять лет тому... она дошла до точки.
Она любви двоюродная дочка
и мастерству – приёмная сестра.

И посредине города и года
есть у неё лишь то, что есть на ней.
И может быть, поэтому родней
она таксисту за свою свободу.

Он ей сказал: «Садитесь, прокачу!» –
и от услуги отказавшись сразу,
подобно каскадёру-трюкачу,
понёсся в ночь наперерез камазу.

И что ему купюры в бардачке,
когда полжизни прожито впустую,
которую, как бабочку в сачке,
он распальцовкой в воздухе рисует.

солнце гаснет
и к сладкой печали зовёт
первый снег застывает
скорлупкой яичной
и вокзальной разлуки
густой креозот
наполняет дыхание
и сердце девичье

кто-то тягой печной
за ночь вытянет душу
размотает-распустит
как выцветший свитер
и покатится мячик-
клубочек Танюшин
вдоль реки
что течёт в океан ледовитый

а бывало подкинешь
и ждать устаёшь
а когда упадёт
снова к небу взлетает
а бывало снежинку
в ладошке несёшь
и снежинка
в горячей ладошке не тает

а сегодня
ты книжку открыла с утра
лепесток незабудки
напомнил о лете
и тряпичная кукла

подружка-сестра
на вопросы твои
не сумела ответить

а сегодня
как выпавший снег холодна
как пустое жильё
после тихого взлома
ты весь вечер глядишь
в перекрестье окна
непомерною силой
к закату влекома

ах Татьяна
скажи
что с тобою случилось
пошатнулось
упало
погасло как свечка

водовозы уже возвращаются с речки
с ними верное слово
и светлая сила

кто-то входит
и мячик роняет в избе
перепачканный сажей
как старая вьюшка

но Татьяна сказала
оставьте себе
это просто пустая
и злая игрушка

Первый лист от клёна отлетел –
как душа – легко и незаметно.
Вот и я пропажу проглядел –
и пуста моя грудная клетка.

Только крепкий и горячий чай.
Только кошка – чёрная, как уголь...
Примечай, мой Ангел, примечай:
я – как день – уже пошёл на убыль.

На листе – ни слова, ни строки.
За окном весь день смеются дети...
Я когда-то тоже был таким.
Я когда-то тоже жил на свете.

Начальник счастья начеку.
Он ополчён и опортвеен.
Приручен к цепкому крючку,
оправлен и опортупеен.

Ему вручили рычаги
от государственной качели,
чтоб малолетние враги
на небо в ней не улетели.

Лишь кто-то округлит глаза,
почувствовав свободу пахом...
Начальник жмёт на тормоза
с каким-то сладострастным страхом.

103493(9)

ЦБС
г. Ленинск-Кузнецкий
Отдел обслуживания
АБОКБ

РФ Кемеровская обл.
г. Ленинск-Кузнецкий
МБУК "ЦБС им. Н.К.Крупской"

В турку засыпан забористый чай.
Пару крапаликов – станет чифиром.
Хочешь, возвысь себя птицей над миром,
вечно зашоренным, сумрачно-сырым.
Хочешь – в миру метрономом качай.

Радость чужая – чужая беда.
Старенький кухонный – он же рабочий –
только за ним я душой разговорчив
в светлых минутах моих одиночеств.
Слёзы искусства – как с гуся вода.

Город подлодкой на грунте подшит.
Сердце стучит молотком в переборку.
Ночью – в стихире, с утра – на разборку.
Снова «качают» и курят махорку
Санька суннит и Валерка шиит.

– Наши алепа и рака – и всё!
– Где уж там, в рифму вас, с вашей ракой,
вместе с другими и вместе с баракой,
вместе со всем этим солнечным мраком
сами построим мы счастье своё.

Всё-то – понятно им, всё-то им – пыль.
Чувствую, что раскачались качели...
Выйду курить, чтоб глаза не глядели.
Пёс на окраине тьявкает еле.
В поле колышется чёрный ковыль.

Дальше – заброшенный конезавод,
пара свинарников в полуразборе...
Вот они наши – и радость, и горе...
Флягу воды средиземного моря
старая бабушка в санках везёт...

И не пишется мне, и не спится —
заблудился я в жизни земной.
И какая-то чёрная птица
всё кружит и кружит надо мной.

Что-то детское с улицы тёмной
мне навеивает сквозняком...
Что-то тайное в месте укроном,
что-то страшное в мире людском...

Я разбил заводную игрушку
для того, чтоб узнать, что внутри.
И увидел лишь чёрную стружку
и железные шестерни.

Чуда нет — никакого сердца,
только гаечки на резьбе.
И зачем за закрытой дверцей
я копался в самом себе?

Я хотел лишь на самую малость
заглянуть в этот свет огневой.
Но душа почему-то сломалась
от божественности его.

У нас на стройке – матерок для скороты.
Легко понятен коренному и скитальцу.
Но лишь в обеденном приливе доброты
он может виться, словно вышивка на пяльцах.

А то – вбиваешь в брусья гвозди из горсти –
посмотришь в небо, в коем ворон, бес-пилотник,
по пальцу смажешь... скажешь: «Господи прости!» –
и Он простит тебя, как будто сам не плотник...

... Взовьётся листьев бледно-охристый песок.
Когда б ни смерть – оно бы сердцу было лепо,
когда б ни сами от войны на волосок,
и ни деревья, как развалины Алеппо...

И если жизнь моя на рыночных весах
уже с просверленной гирькой встала вровень,
и если сам я в эти русские леса
уже давно до смерти врос, как марьин корень, –

мне в одиночестве на даче дичковать,
с песком сирийским жечь душевные тетради...
Где только панцирная голая кровать,
и воздух – милостыней подан Христа ради...

Мне не впасть бы ни в прелесть, ни в ересь.
Пусть ни жалость, ни ярость не ест.
Но с другими гордынею мерясь,
про нательный свой помнить бы крест.

Ночь затянута кирзовым берцем.
Вышиванку под ватник надев,
кто-то греет холодное сердце
и читает стихи нараспев.

Да и сам я за камерной «решкой»
с оперившимся вдруг оперком
на допросе с ответами мешкал,
о побеге мечтая тайком.

Пустобрёха ты, ночь, растеряха.
Мало крови – ещё попроси...
Охрани меня Ангел от страха
и от смелости лютой спаси...

Перемешаны ладан и миро.
Только б слышать сквозь звон бубенцов,
как плывёт и возносится: «Мир вам», –
над церквушкой в тринадцать венцов...

Пятьдесят. А всё бирюльки.
За окошком – снег стеной.
Ты налей мне из кастрюльки
чай вишнево-травяной.

Память бредит, сердце ноет.
Я ль не пильщик-сучкоруб?
Не лихой Аника-воин?
Не калика-пустозуб?

Прошлой жизни пуповину
перевяжет снеговой.
Чтоб вторую половину
жить толковей и новей.

Слава Богу, снова бедность!
Щи да кашу из печи
кушай с маслом небесным –
сердце радостью лечи.

Светлой радоницы птица –
свет-снежинка серебрится.
Искрой росных клеверов.
Ах, голубка-голубица,
дай мне с миром примириться.
Крестокрылая звезда.
Богородицын покров.

БАБУШКА С УЛИЦЫ РУТГЕРСА

Говорила бабушка: «Жизнь – плакун-трава.
За Ивана Силыча вышла в двадцать два.
Завалило милого в шахте стволовой.
И навек осталась я смолоду вдовой».
Принесли ей валенки, выстроились в ряд.
«Это правда?» – всхлипнула. – «Правда», – говорят.
Тормозочек в торбочке, как ложила, цел:
«До обеда бахнуло – так и не поел».
Всю войну работала – тарила тротил.
Но потом конвейер ей руку закрутил.
В почтальёнках бегала через райсовет.
Год спустя посватался хроменький сосед.
Заходил-обхаживал, помогал с углём.
«Чай, не дети малые – веселей вдвоём».
Пятилетку прожили, деток бог не дал.
На работе мужниной по ночам аврал...
Как другие, сладили б, да в селе чужом
закололи беглые сокола ножом...
Вот и стала бабушка жить да попивать.
Квартирантам на зиму комнатку сдавать.
«Подзабыла что-то я, кто у нас теперь?»
Говорит-то правильно, а пойди – проверь».
И трясёт бутылочку, смотрит в потолок:
«Что ж, такие малышки, делаешь, милок...»
Квартирант за выпивкой к руднику бежит,
а трамвай-четвёрочка рядом дребезжит.
В небесах шахтовые звёзды-фонари
из забоя вечного светят до зари.
Из забоя вечного, шахты стволовой...
Чтобы жил и здравствовал город вековой...

Говорю картаво, повторяю – Кемерово.
Кемерово – это не город. Кемерово – это время.
В городе Кемерово – братвы немерено.
Здесь один за семерых и на одного – семеро.
Пальцы веером – племя тренерово.
По ночам в заведеньицах народ ерепенится.
Барак в кавернах, гребцы в триreme.
И все на теме, на... и все на теме.
Вышел за угол – за пивком в ларёк,
на тебе битой по темечку – и потёк.
Кемерово – это не город. Кемерово – это время.
Время разбрасывать и собирать время.
Сколько здесь похоронено и растеряно...
С этим городом разрываю-рву,
но возвращаюсь вновь в эту кемерову.
С этой кемеровой буду умирать.
Кемерун-трав, померун-трав.
В этой кемерове хоть всю ночь реви –
горе горло рвёт и бурлит в крови.
Кемерово – веретено.
Рваная рана – Кемерово.
Кемерово – это не город. Кемерово – это время.
Но больше с верой здесь, чем с поверием.
И кедра в бору, и поле клеверово,
и поцелуй на осеннем ветру –
это тоже Кемерово.
По миру ли пойду, всё равно я намертво –
от ласкова юга и до лютого севера –
памятью, кровью, сердечным тремором
побратался-сроднился с бродягой
Кемерово.

Горит закат. Сгорает масленица в парке.
Лиловый дым с какой-то горечью в довеске.
И тополя растут, как стрельчатые арки,
а в них софийские мозаики и фрески.

Стекло витражное течёт расплавом вязким.
Густой орган – как повторение узора.
Но не они звучат, а темперные краски
рублёвской радости Успенского собора.

Желток яичный здесь вернее, и движенье
сердечной крови – в синеву небес весенних.
Здесь слово «смерть» обозначает лишь рожденье.
И всё, что выпало, даётся во спасенье.

Как бой кулачный и катанье на каурках.
И воскресенье с поминальными блинами...
Когда душа твоя – сырая штукатурка,
как будто мать сыра земля под пеленами...

И в этой влажности и слёзности до дрожи
сказать: «Прости меня – и я тебя прощаю».
Пусть будет совесть нам стыдливости дороже.
Пусть тёмный демон наши души не смущает.

Когда мы сами – обмолотная полова,
сухая краска из ковыльного пространства...
Господь меж нами – как связующее Слово.
И вербный воздух православного славянства.

Когда разлука накрывает меня с головой,
и ночная тоска затягивает в свою трясицу,
я покупаю спирт на улице Луговой
и пишу письма мёртвому сыну.

И дым пороховой завывает в трубе.
И падает на снег тронутая снежирём рябина.
И поёт о своей свободе и о своей судьбе
глинобитная окраина-окарина.

Мол, сама породила, захочу – убью.
Эта наша семья, голытьба, слободка.
Самый действенный клич – это: «наших бьют», –
не заменишь его романтикой или водкой.

Тот, кто видел смерть товарища своего,
не сменяет месть свою на табак и сахар.
Молодость на войне ценнее всего.
А ещё ненависть и отсутствие страха.

Все мы верим в ребячестве, что не умрём.
Только давит нас время – шершавый глетчер.
На сугробике ягоды понадклёваны снежирём.
А что, сынок, на небе – оно легче?..

Вот рыбак на запруде. Он удит глубокую рыбу.
И спина его как бы готовится к свежему гробу.
Да и рыба под тяжестью водной слаба плавниками –
раздалась и раздулась в зеркальных чешуйках боками.

Всё, что помнит рыбак – поплавок да заветная леска.
Да крючок-червячок, да искринка далёкого всплеска.
Жизнь отрезала озера тихая острая бритва.
И с дымком-костерком тишина – это тоже молитва.

А жена его будет вытряхивать карповый ливер.
Будет внук под окошком тягать двухпудовые гири,
и читать по слогам будет внучка любимая Лиля
в свете лампы ночной: «Дурачина, старик, простофиля...»

Когда весенняя гармошка
сожмёт мехами тополя,
в вечернем парке бродит кошка,
и пахнет осенью земля.

И девочка на край скамейки
садится, чтобы покурить,
в шубейку втягивая шейку,
как будто горе хочет скрыть.

И кошка об ноги всё трётся –
не то, чтоб дали ей еды,
а просто боль передаётся
с табачным запахом беды.

Ментол с американской мешкой
сгорает, как закат в дали...
И надо бы помочь ей, грешной.
Но чем помочь?
И надо ли?

САВЕЛИЮ

Когда планида с яростью слепой
меня сжимает, словно курью гузку,
я ухожу в решительный запой,
как жёсткий диск идёт в перезагрузку...
Когда обшарен каждый закуток,
и весь табак искурен самокруткой,
во мне шугой густеет кровоток
и застывает оторопью жуткой.
А то колышет – хоть за сердце держись.
Падёт слеза в похмелье покаянном.
Мол, до сих пор не понял эту жизнь,
не примирился с миром окаянным.
Чугунный мячик скачет в голове.
Она – пуста который понедельник.
И я звоню: мой Добрый Человек,
мне очень надо хоть немного денег.
Я спирт куплю и крымских сигарет.
Пойду один сидеть в полынной ямке.
Простивший всех ночной анахорет –
седой подранок, выплывший из пьянки.
Сырые звёзды и чертополох,
и сладкий сон у тополя в подножье...
Не знаю как, но мне поможет Бог.
Пока душа ещё – творенье Божье...

Сентябрь-сварщик варит арматуры
полусквозных каркасных тополей.
И в синеве небесной кубатуры
спадают искры жёлтые к земле.

А я смотрю прорабом, в каске белой,
на недостроенные этажи –
и ни замеса в сердце, ни задела,
ни чертежа на будущую жизнь.

Как я хотел бы следовать и верить
во всём природе-матери одной.
И чтоб деревья, птицы или звери
в неразуменьи были бы со мной.

Оно бы так. Но Главный Архитектор,
белёный снегом, ватман в небесах
уже расправил. И наметил вектор.
И передвинул гирьку на весах.

Расчищаем помойку, зажавши носы.
Подрубаем ивняк по протоке.
С топором Игорёк – Парамонова сын.
Сам с пилой – Парамон круглоокый.

Растянулись цепочкой:
– Давай-подавай!
Заодно весельчак и печальник.
Прогремит по мосту единица-трамвай.
Из машины посмотрит начальник.

Круговая сплочённость сидит в мужике,
и смекалка – словцом нецензурным.
Что твои, человек в дорогом пиджаке,
мозговые атаки и штурмы?

Он «сподверху» надпилит, «споднизу» возьмёт.
Сырный клинышек обухом выбьет.
И с другой стороны
надавить – и пойдёт.
И заблещут глаза его рыбы...

... И вот так бы пилить да махорку курить.
И своё сочинительство бросить...
По-простому смотреть, о простом говорить.
И мечтать о ботинках на осень...

Советский сыр и крымское вино.
В оконной раме – осень золотая.
И мы на кухне, выпивши, болтаем
о том, что было раньше и давно.

Про детский сад, про общую страну.
Про самогонку в образе горилки...
Но в кураже хватаемся за вилки,
едва затронем главную струну.

Врага убить – и душу не сгубить –
нам не хватает этого умения.
И мучит нас озлобленное тленье.
Зубовный скрежет рвёт беседы нить...

Меж тем уж дворник делает замах.
Метла метёт *andante moderato*...
И на диванчик брат отводит брата.
И медный тазик ставит в головах.

Уголь веток. Неба подмалёвок
на рогожке снежного холста.
А под ней – шуршанье дней-полёвок,
перепрелых красок густота.

Где ж ты, кадмий, стронций с киноварью?
Где же ты, берлинская лазурь?
Только сажа газовая гарью,
только умбра, сколь глаза не щурь.

Там слепой слепых ведёт к обрыву.
Там коньки готовит детвора.
Ну, а нам-то, к птичьему порыву –
только птичьи слёзы и права...

...Кошки спят на тёплых батареях.
Ветер ищет щёлочку в окне...
Я зимой немножечко добрее –
так прижмись же крылышком ко мне.

Если жизнь – сермяга и рогожа,
стоматологическая дрель...
Птичье счастье нам земли дороже,
и роднее неба акварель...

Распалась снегом синяя вода.
Черствеет полночь лагерной манерой.
И сквозь поля летят по проводам
быстрее пули сводки землемера.

Имея глаз простого столяра,
он видит крен у вышки деревянной,
с которой зорко – с ночи до утра –
за ним следит солдатик оловянный.

И балерина в пламень ноября
уже спешит с билетом невозвратным.
Туда, где окна ветками скребя,
гуляет ветер горем перекатным...

Где землемер, озябнув в снегопад,
берёт в каптёрке книжку из коробки.
И, вырывая что-то наугад,
готовит печку к утренней растопке.

– Что принести тебе
из мира грешного,
что на крови?
Она ответила:
– Чуть-чуть черешни бы
и час любви.
И разговоры чтоб,
и ночь соловая,
и жар огня.
Я сам ей под руку
подставил голову –
погладь меня.
Котейкой брошенной,
что всё скитается
уж сколько дней,
и к людам просится,
таская крошево
у голубей.
Ну что, мой старенький,
ну что, мой маленький?
Всё мур да мур.
И я – беззубенький,
с черешней аленькой –
лямур-тужур.

Вот и молчание стало не тягостно нам уж.
Вырастут кошки-котята – отпросятся замуж.
Смерть нас сроднила, связала пеньковой верёвкой.
Жизнь пролетает лукавой сорокой-воровкой.

Но ни украсть, ни развеять ей облаком белым
то, что в груди прикипело к тебе, приболело.
Пусть неказиста семейная наша обитель,
ты для меня – оберег и мой ангел-хранитель.

Пусть же минуют нас хлопоты с похоронами.
Пусть в один день наши души расстанутся с нами.
Если небес холодок шевельнёт занавеску...
Если начнёшь умирать – напиши эсэмэску...

Сумрак вечерний
нежней голубого
утра воздушного
нового дня.
Первое слово
дороже второго.
Память вернее
согреет меня.

Веришь – не веришь,
в ноябрьской дрожи
голубь родней,
чем стрижей виражи.
Если все смерти
на жизнь перемножить,
то не получится
новая жизнь.

Вот и моя –
всё имён окликанье,
с белой бумагой
ночной разговор.
Лирика –
лёгкая боль покаянья
и одиночества
слабый раствор.

Жил бы на юге – курил бы вино.
В шумном порту приторговывал краденым.
И всё писал бы о том, как в окно
светит ночами луна-виноградина.

Да и на севере – вор на воре.
Слава из прошлого тянется та ещё –
как опостылевший снег в ноябре
не застывающей слякотью жалящий.

Север ли, юг ли – одна маета.
Всюду найдутся тебе правдорубчики.
Чёрту не братья и нам не чета –
неискупленных грехов перекупщики.

Вынь да положи им из шкафа скелет.
Спой «Колыму» или вечное «Besame».
С Богом не часто бывает поэт.
Чаще бывает он с мелкими бесами.

Выпьет. С холодным вниманьем вокруг
глянет. И ножик до должного качества
станет точить – и порежется вдруг.
И над стекающей кровью расплачется.

В небесной прачечной сломалась центрифуга.
Она всю ночь крутила бязи облаков.
Теперь в наплыве густо-вспененных снегов
едва чернеет деревянная округа.

Но незаметно с оцинкованных покатов
с неторопливостью твердеющей смолы
стекают белые слоистые валы
и распадаются на ветках мыльной ватой.

И вот – как если бы вдруг двери отворили –
рассветный луч сквозь гребешковый тёмный лес
сюда протиснулся из краешка небес –
и полетел, расправив огненные крылья.

И вот, не снег уже, а в серебре и злате,
как на подсвечнике, прозрачны тополя.
И пусть местами не простирана земля –
её коснулся этот отблеск благодати.

Если бисер стиховный не вяжется с пряжами жизни,
если носит почтарь всё повестки в казённых конвертах,
и не радуется Новгород больше, Великий и Нижний,
то хотя бы весна... И хотя бы искусство бессмертно.

На торговой шумят: пусть приедет заморский решала!
И громче других – из-за спин – скоморох и стригольник.
Ловкий каменщик ставит под арку стенную кружало.
Молоток, мастерок у него и ещё наугольник.

Ярославна всё плачет. Опять у войны – половодье.
И ледок на Чудском то растает, то схватится коркой.
Для варягов и греков мы тащим тяжелые лодьи –
то из Горького в Нижний, то снова из Нижнего в Горький.

Не припомнишь дословно – так выдумай же достоверно,
нацарапай глаголицей на берестёнке сердечной
что-то очень простое – о том, что пространство безмерно,
что искусство бессмертно, а жизнь – неспроста быстротечна.

Словоносица – пчёлка из утренних снов
мне приносит нектар с электронных полей.
Отодвину в коробочке вправо засов,
и она мне тихонько прошепчет: «Налей!»

Но в коробочке чёртик зловредный живёт.
У него есть зубок заострённый во рту.
Он впивается в слово и надвое рвёт,
и вытягивает из него доброту.

И в ответ из горнила в андроид-трубу
вылетает берёзовых углей огонь.
Кочерга и шумовка по рёбрам скребут.
И копытом стучит левитановский конь.

Это мобилизация тайной вины
призывает меня партизанить в себе.
Есть сим-карта – для мира, и есть – для войны.
И ещё – безлимитный вай-фай для небес.

Пусть пчела залетает в остывшую печь.
Я ни зло, ни добро не умею беречь.
Пусть чертёнок скребётся в своём коробке.
Если жизнь – в пустоту,
то и смерть – налегке.

Рифмует время март и смерть.
Сырой Мологой из воды
к утру вытаскивает сквер,
и седоватый вьётся дым.

Весна сквозит со всех углов.
Острее запах, резче звук.
Но, не желая лишних слов,
уже не переназову:

ни снег сырой, ни дом с трубой,
ни бледный свет в начале дня –
пусть остаётся всё собой –
как будто вовсе нет меня,

и мир – как будто на заре,
и Бог меня не создавал,
и я не называл зверей,
и птиц ещё не называл.

Снег вчера был кремом заварным,
а сегодня он лежит в просрочке.
Чёрствый наст. Заржавленные бочки.
В сером небе – редкий дачный дым.

«Я не буду больше молодым», –
говорит согнутый гвоздь в заборе.
И забор, давно уже «не в створе»,
в эту зиму стал совсем седым.

И времянка уж который год
ждёт, когда я новый дом построю.
А ещё вечернею порою
возле дуба здесь гуляет кот.

Исподлобья смотрит на пустырь,
будто раньше лучше здесь бывало.
В дебри сказок – верный поводырь.
Мне кота ещё не доставало.

Снова май-винокурщик в разгуле своём
разливает растенья в земельную прелость.
Снова спросишь меня: почему мы вдвоём?
Я отвечу: не знаю, само завертелось.

Перезрело, отжалось, как ягодный жмых,
забродило по новой на прибранной даче.
И пока нам важнее заботы живых.
Станем мёртвыми – будут другие задачи.

Пусть округа заборами нас оплела.
Нам важней земледелье в своём огороде.
И на нашу делянку достанет тепла,
чтоб разжать кулачки красноплодных смородин.

Мы друг другу признаемся в давних грехах.
От разлуки так тянет в сестричество-братство.
Мы же знаем, что время не в наших руках,
и поэтому смерти не нужно бояться.

Было много нам в жизни с тобою дано.
Где-то молодость скачет на борзой кобылке...
Посмотри за окно. Там осталось вино.
Предзакатное, в тёмно-зелёной бутылке.

Всегда другая, прежняя всегда
ночной реки холодная вода.
Огни бараков, чёрные градирни,
шум тальника и камешков прибрежных,
зубовный скрежет, как в инфекционной,
где слово «ВЫХОД» светится надмирно,
не обещаньем жизни, но надеждой.
И медсестра с лекарством порционным
бежит ко мне, тревогою дыша,
пока над ней плывёт моя душа
по коридорам кафельным в окно,
в больничный сквер, где сыро и темно,
потом наверх, над молниеотводом
двухсотметровым, над лесопосадкой –
туда, где дом обит шершавым толем,
и в темноте, над тёмным огородом,
он весь бликует кварцевой крупчаткой.
И лай собак, и Млечный путь над полем
в непостижимой движутся дали
с едва заметной скоростью Земли.
Петляет речка, прячась в тальники,
щекочут пальцы серые мальки...
И я наполнен этим звёздным небом.
И мелкий бес во мне ещё не страшный.
Сопrotивляясь быстрому теченью,
я сыт ещё куском ржаного хлеба,
и вся-то память – только день вчерашний,
и чай с малиной – всё моё лечение...
...Стучит в стекло полынью суховея.
И счастлив я от немощи своей...

Кто-то картавит мне: «Не навреди»
Я отвечаю: «Да не приведи...».
На сердце – чёрт или нечерт.
Рыжий котёнок лежит на груди,
что-то мурлычет и лечит.

Лечит-мурлычет и гонит змею –
душную врушку-норушку мою –
душелечебница кошка...
Отяжелела душа во хмелю,
подзагубилась немножко.

Что-то чугунит во зле голова.
Где ж ты забвенья отравы-травы,
где ж тебя выпросить-выкрасть?
Из репродуктора – те же слова –
спорят всё нехристь и выкрест.

То ль их пуруша тапасом морит.
Звёздное небо ли кровь берedit.
Козни ли всё Люцифера...
Точит сознание познания термит.
Рядятся верность и вера.

Что же мне, бедному, делать с собой?
С пажितью, с жито-житейской судьбой?
С этой египетской силой?..
С кошкой под мышкой пустыней брести.
Время от времени время в горсти
сжатое сыпать над Нилом...

Из всех искусств я выберу одно:
скрестив уток тоскливости весенней
с основой чувств и самоосмыслений
словами ткать ночное полотно,
в котором зримо:
почек скорлупа
в сплошной тиши расщёлкнется сверчками,
и разожмутся листья кулачками
в густой воде,
где плавает крупа
иринок млечных, квантовых мальков.
И телескопы вертят звездоловы
в своих руках
в предчувствии улова.
И шевелятся перья облаков.
Заря царапнет матовый винил.
Обмажет ранку ранняя зелёнка.
И в воду капнув,
вытянется плёнкой
и разрастётся в загородный ил.
На мачтах веток, днищах земляных,
в полях озимых, в трюмах парниковых.
И пенье рыб
проникнет в сон суровый
и расцветёт в наличниках резных...
Когда тепло достигнет глубины,
то расцветёт над ней кристальный лотос.

И белый свет
на многослойный Логос
в нём распадется –
станут дни длинны.
И сплетены опять в узле одном.
В быту сермяжном, в облачном эфире,
в полуденном или подлунном мире,
который смотан звёздным полотном...

Хмельное чернозобое грачье
исполнено бродяжества и бедства.
На выселках их бражничество – средство,
а цель – найти бы что-нибудь ничье.

И незачем им мир, и не при чём
доставшееся с битвами в наследство
их поприще – контейнерное ведство
и капище – кострище над ручьём.

Отседова до тедова – квадрат
вычерчивает утром неформат,
чтоб к вечеру, избыв своё беремья,

употребить лечебный суррогат,
от коего всё по сердцу на время,
и времени до смерти – в аккурат.

Всё чаще не молюсь, а ворожу.
Как будто договариваюсь с Богом.
В житейской гуще вязну праздным слогом.
И в Храм зайдя, я в Церковь не вхожу.
Опять пил пиво и читал Псалтырь.
Потом в компьютер лез за перебранкой.
Потом пошёл за следующей банкой
и думал: «Не уйти ли в монастырь?»
Я слышу Крым и слышу Магадан,
Большой театр и маленький квартирник.
И как зовёт вотще ослепший лирник:
«Перевидіть мене через майдан».
Где каждый прав и каждый виноват.
«Где все святкують, б'ються и воюють».
Где всем дано не чувствовать, но чуют,
и вместо слов вернее автомат.
Но и слова – по капельке на мозг
всё капают и капают, и точат
незримо душу-камень днём и ночью.
Тиберий это выдумать лишь мог.
Моя душа пристрастна, но слепа.
Я немощен, я слаб, я легковерен.
Избавь меня от казни, злой Тиберий.
Избавь меня от выбора, толпа.
Когда болит от шума голова,
и божий Агнец брошен на расправу,
я снова сердцем выберу Варраву,
не разбирая Слово и слова.
Готов в дорогу бранный чемодан.
Смерть не страшна, и меч судьбы наточен.
Но если только можно, Творче, Отче,
избавь меня – идти через Майдан.

Ни звонка, ни звона колокольного.
На озимом сердце – борозда.
Незаметно с неба мукомольного
опустилась ранняя звезда.

Всё что было, билось ли, болело ли,
что скулило брошенным щенком –
всё уснёт под саванами белыми,
под шершавым ситцевым венком.

Старый друг зайдёт, слегка подвыпивший.
Закурить попросит – закури.
Только, как с птенцом, из жизни выпавшим,
я прошу, со мной не говори.

Я измучен тягостными встречами.
Всё труднее мне смотреть в глаза.
Даже если спросишь, не отвечу я.
Не смогу об этом рассказать.

Всё, что помню, всё, чего не помню я,
что цвело ромашкой полевой,
забросали глиняными комьями,
вперемешку с жёлтой листвой.

И от скорби сердце не расплавилось.
Лишь навек прорезались слова:
«Постарайся, чтобы я поправилась.
Сделай так, чтоб я была жива.

Ты на юг, ты к морю отвези меня...»
Но заметив жёлтый лист в окне,

прошептала тихо: «Обувь зимнюю
ты не покупай, наверно, мне...»

Сорок дней, как в белом шуме, прожито.
Закольцован жизненный виток.
«Бог прибрал», «Ему виднее». Может быть.
Значит, просто не держал никто.

Старый друг о чём-то: «Будет нам ещё»
Только знаю, в горле боль ершом.
И уже с небес, над новым кладбищем,
экскаватор свесился ковшом.

Белый снег мой, брат мой, не растаивай.
Полежи подольше, подожди.
Пусть не режут память птицы стаями.
Не гремят весенние дожди.

Пусть в душе под тяжкими сугробами
прозревает светлое зерно.
Чтобы к сроку Небохлебородами
было Богу отдано оно.

Снег был покоем, и время – быльём.
Только сегодняшней ночью, спросонок,
слышу, как в сердце мурлычет котёнок,
лапкой царапая сердце моё.
Это предчувствие ранней весны
бродит по городу воздухом талым.
Просится в память, вплетается в сны,
жмётся в груди расставаньем вокзала.
Рвутся и вяжутся с гарью печной
звуки растянутой влажной округи:
девичье-птичье с заречно-ночной.
Даль – со столбами электронапруги.
Нежно-тревожное облако-грусть...
Запах оттаявшей в поле копёнки...
Не словотворным останется пусть –
как непроявленные фотоплёнки...
Кошке бездомной еды отнесу –
часто душевное – нам во спасенье...
Буду предчувствие жизни весенней
медлить и длить, и держать на весу.

Вот и разбилась зелёного лета копилка
из обожжённой до звона эмалевой глины.
Кто верховодит и кто у него на посылках –
плачут-смеются среди черепков тополиных.

Кто же он, нетерпеливый и щедрый растратчик?
Добрый Морозко, быть может, в шубейке лебяжьей?
Только смотри – потянулись от стужи по-грачи
в красных кроссовках ребята с душою бродяжьей.

В Среднюю Азию, до Бухары сладкодынной.
До Намангана солёного. До Айдаркана.
Им ли вникать в омертвевшую мудрость латыни,
перебирая по бусинам суры Корана?

Лучше с богатством, но в бедности видится больше.
Плитку клади, да читай Навои и Хайяма.
Видишь, как выправил небо небесный стекольщик,
золотом листьев осыпав мечети и храмы.

Вечный гончар, разбиватель и лепщик сосудов.
Полых свистулей и дудок, и крынок молочных.
Дождик весенний, рождающий радуги чудо,
льдом застывающий на желобах водосточных.

Квартал-тандыр и август на просушку.
Бокал небес висит вниз головой.
Ты говоришь, что ранила лягушку,
когда боролась с сорною травой.

И я лягухом на шестом десятке
изображаю с болью нутряной
не то трепак с коленцами в присядке,
не то цыганский выход под луной.

А вот гляди, подростки-сеголетки,
сменяя на босы ноги плавники,
уже готовы выпрыгнуть из клетки,
чтоб прямо в небо целить языки.

... Держу в зубах соломинку ржаную.
В логах туманы снежные легли...
Пропели мне про сторону чужую
и пролетели мимо журавли...

Я болею. Тяжесть – тонной.
Не до маеты.
На рябине заоконной –
снежные бинты.
Черти к самому острогу
чуть не подвели.
Ну и ладно же, ей-богу,
мало ли земли?
За других душевным тленом
мне не отвечать.
Мне бы боль ибупрофеном
к ночи укачать.
Не боли, моя гордыня –
чёрный воробей!
За грудиной из полыни
гнездышка не вей!
Но душевная скворешня
люба воробью...
Засыпай, умри, мой грешный.
Баюшки-баю.

Вечерок сегодня длинный.
Ветерок не шибко скор.
По аллеи тополиной –
снежно-капельный раствор.
Тихо вьётся, чтобы выюга
забуранить не смогла,
чтоб не звякнула округа
из граненого стекла.
Чтоб ни памяти, ни боли,
чтоб напасти не пасли.
Чтобы натровые соли
на душе не выросли.
Чтоб ни розмысла, ни смысла.
Только плавя синий лёд,
звуковое коромысло
гнул бы в небе самолет.

Духовный меч возвысим на торгу.
И гордый стяг – свою великорусость.
В святом бою – смирение – не трусость.
Холодный вызов падшему врагу.
Ведь нам с тобой доверено беречь
зеницей ока – Царственное Слово,
чтоб очищать от жмыха и половы
и защищать свою Родную Речь.
Монах и воин, славный Пересвет
упал в ковыль, объятый смертной дрожью.
Но мы сильнее пред вымыслом и ложью.
Горят мосты. Назад дороги нет.
Сожми свой меч. Да будет с нами Свет!
Чтоб победить в бою, во славу Божью!

В краю сосновом – угольно-угольно.
Приложен к сердцу город-подорожник.
То подбирает, то спускает вожжи.
Но мне, каурке вещему, привольно.

Я тридцать лет в ушке его игольном.
Своей души – заезженной – изложник.
Но тяжкой жизни вызревшие дрожжи
идут в замес со словом мукомольным.

Как нам жилось – останется меж нами.
Что впереди – добро ли ждет там, худо ль.
Падёт вода и скроет всё волнами.

Другой маркшейдер кликнет звёздный гугл.
Где я надменно-ломкими крылами
впечатан был в коксующийся уголь.

Содержание

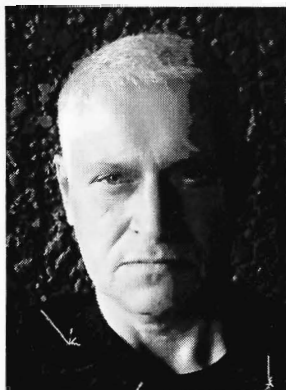
«Двадцать два...»	3
«Давай плести, как фенечки, слова...»	4
«То ли стряпуха...»	5
«Чуть заметные лёгкие тени...»	6
«Ближе к ночи...»	8
«Вчера был город ливнями прошит...»	10
«Не грусти, фармацевница...»	11
«Собираю по слезинке...»	12
«На перекрёстке бедности и горя...»	13
«солнце гаснет...»	14
«Первый лист от клёна отлетел...»	16
«Начальник счастья начеку...»	17
«В турку засыпан забористый чай...»	18
«И не пишется мне, и не спится...»	20
«У нас на стройке...»	21
«Мне не впасть бы...»	22
«Пятьдесят...»	23
БАБУШКА С УЛИЦЫ РУТГЕРСА	24
«Говорю картова...»	25
«Горит закат...»	26
«Когда разлука...»	27
«Вот рыбак на запруде...»	28
«Когда весенняя гармошка...»	29
САВЕЛИЮ	30
«Сентябрь-сварщик варит арматуры...»	31
«Расчищаем помойку...»	32
«Советский сыр и крымское вино...»	33
«Уголь веток. Неба подмалёвок...»	34
«Распалась снегом синяя вода...»	35
«Что принести тебе...»	36
«Вот и молчание...»	37

«Сумрак вечерний...»	38
«Жил бы на юге...»	39
«В небесной прачечной...»	40
«Если бисер стиховный...»	41
«Словоносица – пчёлка...»	42
«Рифмует время...»	43
«Снег вчера был кремом заварным...»	44
«Снова май-винокурщик...»	45
«Всегда другая, прежняя всегда...»	46
«Кто-то картавит мне...»	47
«Из всех искусств я выберу одно...»	48
«Хмельное черноезобое грачье...»	50
«Всё чаще не молюсь, а ворожу...»	51
«Ни звонка, ни звона колокольного...»	52
«Снег был покоем...»	54
«Вот и разбилась зелёного лета копия...»	55
«Квартал-тандыр и август на просушку...»	56
«Я болею. Тяжесть – тонной...»	57
«Вечерок сегодня длинный...»	58
«Духовный меч возвысим на торгу...»	59
«В краю сосновом – угольно-угольно...»	60

Сергей

Юрьевич

Дьяков



Родился 3 декабря 1967 года в городе Невьянск Свердловской области. Учился до восьмого класса в городе Юрга, затем поступил в Кемеровское художественное училище на декорационное отделение. 1987 – 1989 гг. – служба в Советской Армии, г. Калуга.

Работал в разных отраслях народного и капиталистического хозяйства: оформителем, рекламистом, дизайнером, строителем. В настоящее время живёт в г. Кемерово.

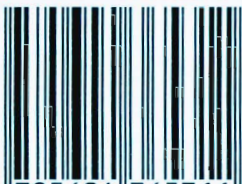
В разное время посещал литературные студии – «Притомье» Сергея Донбая и «Аз» Александра Ибрагимова.

Автор книги «Звездная полынь» (2004 г.). Публиковался в журналах: «Огни Кузбасса», «День и ночь», «После 12», в сборнике «Нобелевский тупик» (г. Омск).

Стихи выложены в сети на различных сайтах.



ISBN 978-5-6043653-1-1



9 785604 365311